

Привед. — 1991. — 9.1.91. — с. 3

Исповедь немолодого человека

Я РОДИЛСЯ в конце прошлого века в Воронеже, в семье аптекаря и в доме аптеки. Учился в Воронежском реальном училище, получил беспорочное право носить мундир с золочеными пуговицами на темно-зеленом сукне. Воронеж я мало помню и все же храню к нему острую нежность. Добрым — как родина, мирным — как родина, бульжным — как родина остался он в моей душе.

Лет через десять после того, как я возник, мои родители (естественно, вместе со мной) перекочевали в Москву. С той поры я москвич. Учился в частной гимназии, потом в университете. Сделался сочинителем. И даже был принят в Союз писателей. Стал законной частью интеллигенции. Увлекался сценарной работой и долгие годы состоял в ней.

В годы, когда я работал в кино, Государство повелевало всем. Заведовало поэмами, повестью, правдой, оркестрами, распорядилось мыслями, песнями, медицинской, моральной и юбилейными торжествами. Не было ничего мудрей и милостивей Государства. И искусство было назначено это вносить. А кино, как самое массовое из искусств, особенно.

И кино вносило. Оно говорило о многом — о домах, шахтах, тракторах, селках, железных дорогах, но главное состояло в том, что нет ничего безобидней, задушевней. Власть. Наш экран был напихан счастием и добротой. Ритуальным для каждого фильма было сказание о том, что наша жизнь удивительна, что все в ней чудесно или на подступах к чудесам. Ну, братцы, натужьтесь, нажмем, счастье уже на пороге, затевай песню. И надсаживались, и нажимали, и пели. И крупней, безоглядней вели гомонил экран.

И десятилетиями окостеневал: в нем было все, что по тогдашним канонам именовалось киноискусством. Все — кроме искусства.

А без этого (как это ни старомодно) нет того, что хватает за сердце и волнуется ум. Все становится усредненным. И как раз таким игрушечным, кукольным и делалось (исключая ряд блестящих удач) понемногу наше кино. Мало-помалу усилиями бесчисленных инстанций и безжалостных директив.

В стране свершалось неслыханное — в быту, в проклятиях и привязанностях народа, в его обычаях, ожиданиях, невзгодах, но об этом нельзя было упоминать. НЕЛЬЗЯ — это вошло в душу, привычки, в язык и походку художника. Не настало ли время (ведь теперь можно) поведать не о единицах, а о целом творческом поколении, которое так и ушло под землю, не сказав и тысячной доли того, что могло бы сказать. Сегодня это ушедшее собирают по крохам. И это дей-



ствительно только крохи того, что назначено было прогреметь и прославить страну.

Как долголетний газетчик я знаю мой Век уже приспанным временем. Видел вплотную, впритык. Немногим судьба расщедрилась выдать такое, что случайно и мимоходом и не по заслугам она приоткрыла мне. Я видел полеты Чкалова и допросы советской контрразведки, знавал крупнейших людей, чьи имена заросли ввнушать. А кино, как самое массовое из искусств, особенно.

И кино вносило. Оно говорило о многом — о домах, шахтах, тракторах, селках, железных дорогах, но главное состояло в том, что нет ничего безобидней, задушевней. Власть. Наш экран был напихан счастием и добротой. Ритуальным для каждого фильма было сказание о том, что наша жизнь удивительна, что все в ней чудесно или на подступах к чудесам. Ну, братцы, натужьтесь, нажмем, счастье уже на пороге, затевай песню. И надсаживались, и нажимали, и пели. И крупней, безоглядней вели гомонил экран.

И десятилетиями окостеневал: в нем было все, что по тогдашним канонам именовалось киноискусством. Все — кроме искусства.

А без этого (как это ни старомодно) нет того, что хватает за сердце и волнуется ум. Все становится усредненным. И как раз таким игрушечным, кукольным и делалось (исключая ряд блестящих удач) понемногу наше кино. Мало-помалу усилиями бесчисленных инстанций и безжалостных директив.

Пришло время поведать о целом творческом поколении, которое так и ушло под землю, не сказав и тысячной доли того, что могло бы сказать

В конце прошлого года в Центральном Доме кинематографистов состоялось вручение профессиональных призов мастерам кино. На каждую «Нику» — изящную статуэтку из бронзы — было по несколько претендентов. И только один приз, именуемый «Честь и достоинство», ждал своего одного-единственного соискателя. Им стал Евгений Габрилович — классик советского кино, его живая легенда.

Родившись в самом конце прошлого века, Евгений Иосифович прошел вместе со страной все трудные годы идущего к итогу века двадцатого. Прожил честно, достойно, не лукавя перед искусством, перед собой. Созданные по его сценариям фильмы «Машенька», «Коммунист», «Твой современник», «Мечта», «Ленин в Польше», «В огне брода нет» стали вершинами советского кино, во многом недоступными и новым поколениям творцов, которые не знают гнета цензуры, жестокой, опасливой саморекламы. И если сегодня Евгений Иосифович может предъявить себе счет, то это счет взыскательного художника, всегда и во всем приверженного правде. Свидетельство тому — публикуемая ниже статья.

с места и двинуться наконец по перестроенному пути. Этих новых качеств немало. Например — предпримчивость.

Мы не приучены к ней. Мы в замешательстве. В не меньшем, чем от возможности говорить то, что думаешь. Это нечто активное, связанное с самостоятельностью в делах, политике, мысли. С неприспешенностью, несанкционированностью решений и действий. С возможностью неудач и даже потерь — не государственных, а своих. Кровных.

А тут уж почешешься, прежде чем предпринять: ведь это нечто совсем другое, нежели мир, в котором мы приучены жить, перекоривать, писать жалобы, получать непреложную зарплату в положенное число и работать лишь бы сошло...

Хоть скудно жилось, зато без качки. День за днем, не искусно судья. Пусть искушает судьбу Государство.

Вот оно и искусило судьбу. Мне думается, в покорной уверенности в том, что за нас все спланирует, организует, наладит нечто вышестоящий, во многом виноват и наше кино. Оно прокламировало это из картины в картину. Не отставала и литература.

А ведь начальство хоть выше, но не умнее нас, народа. И не провицательней. Кажется, мы это сегодня осознаем.

Я ПРИШЕЛ в кино в конце тридцатых годов. Как полагал, ненадолго, а оказалось, на длительный срок. Наряду с моими друзьями я хотел доказать, что кино это не только штыки, шпионы и взмыленные погоны, но все самое острое, близкое человеку. Все застенное и неслышное, что живет в нем. Я хотел доказать, что сценарий, подобно книге, не знает предела возможного. Что все доступно ему.

И что сценарий надо писать со всем напряжением писательских сил — это не скучный, докучливый перечень будущих кадров, а неудач. И возникнет необходимость в существовании новых свойствах и температурах общества, чтобы действительно стронуться

же не залпы, а человек. Тот самый, что рядом, на этой же лестнице, в том же подъезде, тот же собрат по существованию с его наивными упованиями, зыбкой мебелью и одеждой, с его женой, детьми, кастрюлями и ночными горшками. Со всем, что с ним и в нем до могилы. И что, как бы ни был велик тот Век, что вобрал его (а на этом только и настаивали управляющие искусством), самое важное все-таки — этот чудак, так и не разобравшийся в том, когда и как он живет.

Однако это было слишком мелко и крохоборно для Эпохи — так говорили мне. Но все же многое, чем я горжусь, протаранилось на экран. Однако я так и остался мелким и крохоборным в перечнях киноисследователей, хотя по моим сценариям сделаны многие фильмы, не исчезнувшие без следа. В том числе и картины о Ленине, которыми я тоже горжусь.

Но, в общем, мне повезло. Мои книги печатались, сценарии ставились, и если кое-что запрещалось, то без особого грома, а как-то исподволь, мимоходом, среди текущих дел. Бывало, я шел против совести, однако — так думается — не сильнее других. И по малкивал не крупней. Ни с кем из могучих не пиравал и не парился в бане. И даже не был знаком.

Конечно, я тоже обструган, но не обструганной прочим, хотя меня долго вели под уздцы.

И лишь сейчас, в наши дни, я отчаянно понял, что слишком слушался всех: редакторов, ныне изболбленных, как трупы, начальников, оказавшихся бестолюбо, вершителей, обернувшихся негодями. Я доверял почти всем кричавшим, писавшим, страшавшим, руководившим, вооруженным газетами и снарядом. И как теперь стало ясно, излишне слушался тех, кто вверху. Верил в их всемогущество, закрепленное в миллиардах цитат и портретов, висевших по всем углам.

Со сталинских лет повелось искусству быть обязательно одобренным Властью. А значит, и безобидным. И следовательно, усредненным: некий прошитый инстанциями стандарт мысли,

оценок, восторгов, проклятий и нравочений. Реестр всего, что похвально (естественно до пределов), и чего (беспредельно) нельзя. Стандарт стал основой коллективного поведения, он в песнях, речах, вкусах, веселье, приветствиях, служебных изгибах спины.

Тот, кто не шел в усреднение, — погибал. Это знал каждый, это по тем временам было усвоено наизусть. В том числе мастерами кисти, слова, экрана.

Это понятно. Непонятно другое. Вот пришла перестройка, шлагбаум открыт: думай, как думаешь, действуй, как требует совесть. Не сачкуй, не лукавь, не воруй, не приписывай. Возникла, пусть не всегда, в каких-то зыбких, расплывчатых формах, свобода. Особенно это непроверяемо в искусстве.

И куда же по первопутку дозволенного ринулись освобожденные чародей экранов? В сюжеты о ворах, взяточниках, рэкетирах, прелюбоделах, о подростковых убийствах и маловозрастных проститутках.

Согласен, и сыщики, и девицы нужны нашему отощавшему экрану. Коммерчески выгодны, увлекательны. Кружат головы и покоряют сердца.

Но почему же не увлекательны и (кстати поспорю!) коммерчески не перспективны ленты совсем иного размаха? Те, где есть сосредоточенность мысли, своеобразие оценок, битва надежд, разочарований, правды, лжи, искренности, мимикрии, геройства и подлости. Все то бесценное, что в первый раз за столько десятилетий подарила художнику Перестройка. Какие объемы мысли и наблюдений, гражданских, человеческих обобщений мог бы сыскать в свободном полете художник, положивший целью добраться до корня, в подземные переходы, в никем еще не освещенный тоннель. Не по рекламным маршрутам, вет-разобраться в этой тряске решительности и сомнений, в гласных рукопашных и келейной брани, столь объяснимой в разрезе того, что народ испытал.

Народ, победивший в великой войне и простаивающий в очереди за куревом.

Перестройка всего, неожиданная и внезапно образовавшаяся... Необходим Достоевский, чтобы в ней изнутри разобраться.

А у нас его пока не видать. И не только в кинематографе. Мне думается, новые горизонты, раскрывшиеся сегодня искусству, на удивление скудно используются художниками. Снова оглядываются они по сторонам: можно, нельзя? Правый, левый? Да никакой! Такой, как ты ест!

Ценность художника в том, что он приходит в мир не с прописями (старыми, новыми), а с неповторимым, своим пониманием всего, что вокруг. Со своими героями, сюжетами, конфликтами, утверждениями, противостояниями. Своими восторгами и презрением. Со своим единственным, непохожим на всех других. Не нечто привычное, бесчисленно повторяемое, должно явиться с ним «городу и миру», а именно неповторимое в понимании человека и всего человеческого, не поддавшееся раздумьям и глазам.

Истина эта вполне банальна, но не для нас, вскормленных на том, что повторяемость благоволенна, особенно когда она следует директивам.

Художник должен настаивать на своем. Не поддаваться. Спорить. Страна привыкла к декоративному единомыслию. Мы вздрагиваем и оглядываемся каждый раз, когда в советском обществе возникает спор. А спорить нужно. Возможно, и спориться. Это естественный, нормальный политический процесс. Иначе все опять обратится в декор. И в политике, и в искусстве.

Творчество не школярство. Это — открытие, хотя и имеет обычаи со временем превращаться в школярство. Из-за заученности, приказов, шаблонности и команд.

И тут я вступаю в несогласие с классиком: конечно, типично ценно, но драгоценной единственности, присущее только тому, что скрыто в данном художнике и что он пытается развернуть. Настежь, всем: здесь важен не ас-

фальтированный шлях, а неотглаженный, разладистый переулочек. И крайне значительное личное, частное. И лучше — такое личное, что на долгие годы прорубает трассу искусству. Без этого оно неизменно вырождается в ничто, в пустое щебетание.

Конечно, не надо с вершин интеллекта бранить развлекательное. Развлекательное — прекрасно. Однако всем его верным рыцарям следует твердо усвоить, что это не столь простое занятие. Тут нужен особый талант: суметь отыскать острейшую тему, составить напряженный сюжет, построить захватывающие конфликты, искрометные диалоги. Все это, если не вымучено, доступно лишь настоящему Мастеру. И опять же не только в искусстве.

Подлинное трудно дается везде. Пора бы это запомнить. И опять не одним художникам.

Я УБЕЖДЕН, что киноискусству в яраду с сегодняшним и немедленным (чем, собственно, оно по горло загружено в наши дни) следует возвратиться к тому, что старомодно именовалось извечным.

Это извечное — человек. Пришла пора вернуться к беспредельности его поведения, заглянуть в самые недра его мыслей и чувств, надолго задвинутое в подсобки и даже — так значилось в редакторских наставлениях — политически подозрительные. Вернуться же не мимоходом, а всей силой правды, открытости и чистосердечия.

Русского человека в прошлом столетии порой называли смиренным и богоносным. Каков он теперь, в финале других столетий?

Он был сталиноносным, хрущевноносным, брежневноносным, даже черненконосным. Всяким, в зависимости от смены начальства. Каков он теперь? Вот центральный вопрос, на который обязаны дать ответ сегодняшние кудесники художества.

Он жил и действовал по правилам, в строго огражденном нравственном, политическом, производственном, бытовым пространстве. И вдруг его выпустили в свободный полет.

Каково ему? Как он летает? Мы исследуем перестройку со всех сторон — экономически, политически, социологически, демографически. А если попробовать расширить этот процесс психологически? Человечески? Не в разрезе цифр, философии, борьбы взглядов и митоворчества, а по-простецки, по-человечески? В каждом из нас в отдельности.

Мне думается, — возможно, я и подслеповат, — что Россия в течение нашего века внутренне стала другой. Ничто не прошло бесследно — ни голод, ни войны, ни лагеря, ни лоды и двуличия.

Стали другими не только улицы, но и дети. Другие дома и дворы, другие восторги и шепотки. Возникли не только громады хозяйственных достижений, но и громады молчания, которое привычно казалось смиренным. А при перестройке обернулось совсем другим.

Итак, каков человек в перестройке? Скажу по правде — не знаю. В моем понимании — он рад свободе полета. Но крепко побаивается ее.

Во-первых — самой свободы. Привык, что все за него решалось, и вдруг зовут самому решать все за себя. Как думать, с какой силой громкости говорить, чему аплодировать? Всюду риск! И в мыслях, и в поведении, и особенно в том — не рвануть ли в кооператив. Ведь надолго ли эта приватизация? Не прихлопнут ли? Все было — была и приватизация. И не только она. Пообождем. А пока поплодирим так, как рукоплещет президиум. Вот где (конечно, пунктиром, вразброд) пружины того, почему не по-спринтерски движется перестройка. Но, конечно, опять же на мой близорукий глаз.

В течение всей моей пестрой жизни я боролся за то, чтобы киноискусство перестало быть всего только поводом для того, чтобы посидеть в темноте и потискать подружку. Я мечтал, что киносценарии раскроют неведомое, никем еще не подмеченное в общественном существовании и в человеке. Войдут равноправно и мощно в бессмертную летопись литературы.

Этого не получилось.

Ну что ж — бывает и так! Однако не каждый, кто опрокинут, не прав. Отощав, исхудав, он снова встает во весь рост и добирается до высот, из-за которых только и имеет смысл метаться и маяться в искусстве. Именно так — я в этом железно уверен — произойдет и с нашим киноискусством. Вынесшим все. Многогосударственным и немудрыми терпеливым.

Ушло мое поколение. Крайне мало на свете людей, которые видели то, что я. Возможно, впрочем, кое-кто еще жив и помнит. Помнить-то помнит, однако не то, что я. Но если и помнит, наверное, не так, как я. А ведь помним мы вроде одно и то же.

И все же, хоть стар, пришла наконец пора постоять за себя. За свой гнев, восторги, оценки, вражду, привязанности. Пусть главным сюжетом станет для меня отныне схватка старого человека со всем, что вросло, впиталось в него. Это достаточно грозный сюжет. И необъятная тема. Осилит ли этот пассаж экран? Или книжное многообразие? Осилит ли я?

Е. ГАБРИЛОВИЧ.